

УДК 008
ББК 71.4

*Волкова Татьяна Владимировна,
аспирантка кафедры теории и истории культуры,
ФГБОУ ВПО «Государственная академия славянской культуры»,
Хибинский пр., д. 6., 129337 г. Москва, Российская Федерация
E-mail: 4zmb@mail.ru*

ДРУГОЙ И ПРИВАТНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ Т. ТОЛСТОЙ

Аннотация: Приватное пространство занимает важное место в жизни человека в витальном, аксиологическом и семиотическом аспекте, поскольку является необходимым условием безопасности, стабильности, личностной свободы и автономии. В современной российской культуре всё большую опасность приобретает проблема разрушения семиотической границы приватного пространства, что связано с фундаментальными сдвигами во многих областях жизни, не исключая пространство повседневности, неотъемлемой частью которого является приватность. Осмысление традиционных и новых механизмов разрушения границы приватного пространства находит отражение в творчестве Т. Толстой. В мире писательницы приватная повседневность может иметь вполне конкретные пространственные границы (телесное пространство, дом), а также реализовываться в формах мыслительной и творческой жизни. Это наиболее стабильный уровень жизни, обладающий семантическими характеристиками «близкого», «безопасного», «упорядоченного». «Приватное» относится к обыденному уровню жизни и вместе с тем противостоит ему. Чёткое отграничение приватного микромира позволяет дистанцироваться от разнородных форм публичного пространства и установить границу с Другим-Чужим. Важное место в прозе Т. Толстой занимает тема реабилитации быта и тема культурной памяти. Выход из кризисной ситуации, состоящей в деформации границ между приватными и публичными локусами бытия, автор видит в укреплении границы «приватного» вплоть до позиции социальной отгороженности.

Ключевые слова: приватное пространство, повседневность, граница, Другой.

Осмысление приватного пространства занимает значительное место в современной российской культуре как в стихии повседневной жизни, так и во вторичных знаковых системах, искусстве. Это следствие важности данной «наболевшей» темы. При этом порой в художественных текстах специфика приватной сферы схватывается с удивительной остротой и показательностью. Сформировалась прослойка художников, для которых эта тема, «бытописательство», «этнография повседневности» — одна из основных и постоянных (Т. Москвина, В. Токарева, Н. Толстая,

Е. Чижова). К ним относится и творчество Т. Толстой, связанное с особой культурной ситуацией — лиминальным периодом современной российской культуры. Герои Толстой существуют в ситуации двоемирия, находясь между миром реальным, миром повседневной жизни, и идеальным — выдуманным, иллюзорным. Соседство двух миров генерирует появление Другого, нарушающего границу. Обыденная реальность предстаёт кошмаром, из которого герои хотят вырваться. Но попытка бегства всякий раз оборачивается катастрофой. Иллюзии рушатся под натиском грубого, пошлого, повседневного или под воздействием Другого, ошибочно принятого за своего. Объяснить это можно отчасти пародированием романтических художественных схем [3, с. 284–292].

От повседневности нельзя абстрагироваться ни в жизни, ни в художественном тексте, моделирующем жизнь. Экзистенциальный кризис, переживаемый героями Т. Толстой, постоянно проецируется на образы повседневной жизни, выступающие как постоянный «фон» происходящего. При этом Толстая идёт по пути моделирования повседневности, а не её агрессивного разрушения, подобно, например, романтикам. Она моделирует повседневность с антропологической точностью, доходящей почти до этнографии быта. Самая положительно окрашенная часть художественного мира Толстой — приватная повседневность, иные пространственные локусы неопределённы или напрямую опасны. Повседневность, «вещной» мир как совокупность культурных артефактов определяет и экзистенциальное, и онтологическое пространство.

Приватная повседневность интерпретируется автором как убежище, позволяющее хотя бы частично преодолеть состояние отчуждённости, защититься от враждебного мира и установить границы с Другим, который чаще всего у Толстой выступает как Другой «с отрицательным знаком» — Чужой. Приватная повседневность у Толстой — область реального человеческого существования, а неприемлемость романтического мировосприятия выступает предметом иронического снижения.

Героям приходится устанавливать и защищать целостность приватного пространства от посягательств Другого, под которым понимается не только чужой, таящий угрозу человек, но и неосвоенный фрагмент реальности, всего лишь маркированный присутствием Другого. Приватная повседневность внеположена топографии обитания Другого — пространству улицы с тёмными переулками и дворами, витринам магазинов, тьме подъездов и парадных. Враждебность публичного, неосвоенного пространства наиболее остро ощущается детским сознанием: «Господи, как страшен и враждебен мир, как сковалась посреди площади на ночном ветру бесприютная, неумелая душа!» [6, с. 303]. Инфернальность и опасностьочной улицы открывается детскому сознанию Алексея Петровича («Ночь»).

Противопоставление приватного и публичного составляет основу произведения «Чужие сны», связанного с петербургским мифом. Пространство города осмысливается метафорически: это — город чужой фантазии, чужих снов, не приспособленный для жизни. Контраст между пространством города с его мрачной, нежилой архитектурой в сочетании с промозглой осенней погодой, вечерним светом фонарей и опасным мраком подворотен, с одной стороны, и пространством дома-убежища

на высоком этаже с «окнами-бойницами» — с другой, заставляет почувствовать вкус жизни, «обострить» инстинкт самосохранения: «Кто не бежал, прижав уши, по такой страшной, бронхитной погоде, кто не промокал до позвоночника, кто не пугался парадных и подворотен, тот не оценит животное, кухонное батарейное тепло человеческого жилища» [6, с. 229]. Обжитое пространство дома наполнено атрибутами вещного мира, семантика которых часто даётся у Толстой при помощи остранения. Дом-убежище позволяет не затеряться в городском пространстве, предназначенному для всех и ни для кого; он служит приватным локусом, где возможна собственная жизнь, личные «сны». Не случайно белый флокс — тривиальный знак домашнего обихода — становится «тайным знаком возрождения» [6, с. 233].

Свой дом отличен от бытийного пространства Другого. Мамочка уводит Алексея Петровича с ночной улицы в «теплую нору, в мягкое гнездо, под белое одеяло» [6, с. 200]. Оплотом защищённости оказывается даже «коммунальное убежище», наполненное «безделушками, овальными рамками, сухими цветами» [6, с. 24]. Тем не менее «своё» жильё остаётся предметом мечтаний каждого: «Маленькая, но совершенно своя комната, да что может быть лучше?» — мечтает один из героев рассказа «Спи спокойно, сынок» [6, с. 129]. Ежедневными унизительными визитами в «места общего пользования» наполнена жизнь Натальи, живущей в коммунальной квартире («Вышел месяц из тумана»).

Внутреннее пространство дома воспринимается как своё, имеющее конкретные признаки бытия. Дом ассоциируется с уютом, семейным очагом: «Коридор уставлен книгами, в кухне все что-то печется и варится...» [6, с. 129]. На сферу жилья распространяются законы территориального поведения. С антропологической точки зрения, доступ в приватную сферу людей, не являющихся его хозяевами или их близкими, жёстко контролируется. Проблема пребывания в пределах жилища чужих решается по-разному: «отказ от дома», грубость. У Толстой Симеонов блокирует вторжение Тамары, нарушая коммуникацию между приватной сферой дома и публичным пространством («тушил свет и не дыша, стоял <...> пока она ломилась...» [6, с. 249]). Другой пример семиотической защиты дома от человека, ставшего неприятным, мы находим в рассказе «Пламень небесный». Отсутствие внимания, молчание как семиотическая пауза, «глушитель» коммуникации с Другим применяется здесь как способ выдворения из дома. При этом обе стороны, по мере нарастания конфликта, выступают по отношению друг к другу как негативный Другой — Чужой.

В произведении «Стена» описан печальный опыт устраниния границы (материальной и семиотической) между хозяйкой жилища и её домработницей. Перепланировка привела к сносу стены между кухней и гостиной. Обретённый простор оборачивается кошмаром: от разговорчивой прислуги невозможно укрыться за ликвидированной стеной. В квартире властвует агрессивный Другой, и, чтобы вернуть утраченную тишину, хозяйке хочется «задушить прислугу кухонным полотенцем» [6, с. 569]. Агрессивная реакция на насилиственное «уплотнение» описана М. А. Булгаковым с указанием на то, что отсутствие личного угла не является естественным условием существования для человека [1, с. 165].

Культурная семантика приватного предполагает свободу в выборе способов жизнеустройства. Протест против жизни по чужому сценарию выражен в рассказ-эссе «Женский день»: бунт против казённой поздравительной открытки, против экспансии всего «чужого», навязанного извне.

В рассказе «Свидание с птицей» дом Тамилы, представленный через остранение («семиотический Другой»), отождествляется в воображении героя со сказочным миром, куда закрыт доступ «разумному, скучному, привычному» [6, с. 314]. Сама Тамила воспринимается как Другой, но Другой-близкий, а её жилище противостоит родительскому дому и является «Домом, где все можно».

Итак, скрыться от реальной жизни и реальных Других в выдуманном мире невозможно. Другой если и не преследует героев-ретритистов, то маркирует жизненное пространство как принадлежащее ему. Так, Симеонов не желает видеть настоящую речку Оккервиль, боясь наткнуться на что-то Другое — «безнадежное, пошлое, окраинное» [6, с. 247]. Для него существует только река, романтизированная его воображением. Крах романтических иллюзий Симеонова вызван почти физически непереносимым вторжением в его уютный мир враждебных Других с их пошлым бытом, кошками и щами («Река Оккервиль»).

«Настоящей» для Алексея Петровича оказывается только его мыслительная жизнь («Там все можно»). Реальность субъективных интеракций подчинена поведенческим стереотипам, которые из-за болезни герою трудно понять и освоить. Для него это — чужие правила, выдуманные чужими людьми. Опека бабушки, захватившей пространство личностного бытия Петерса, является причиной и его жизненных неудач («Петерс»), когда окружающие Другие постепенно превращаются во врагов. Быть романтическими Другими Другие-Чужие не могут: они обычные люди со здоровой долей жизнелюбия и цинизма.

Одиночество героев Толстой нередко толкает их на неразборчивый поиск близких Других, в качестве которых выступают чужие, враждебные люди, мимикрирующие под «своих». Так, для Петерса враждебным Другим оказывается Фаина. Симеонов не может пережить конфликтное раздвоение двух образов Веры Васильевны: романтического, «своего», и реального, «чужого», в виде символически изменяющей ему безобразной старухи («Река Оккервиль»). Соня («Соня») сначала вращается в обществе Других, которые и её воспринимают как Другого из-за разницы мировосприятий, а потом принимает за близкого человека продукт чужой фантазии — образ выдуманного человека, с которым вступает в любовную переписку. В этом рассказе архитекторика интерактивных ходов между героями, выступающими друг для друга в масках Других, достигает особой сложности. В сущности, Соня ведёт доверительные разговоры с враждебным Другим — Адой Адольфовной, замаскированной под поклонника Николая. Конфликт, порождаемый Другим, усложнён общением масок.

В истории существовали эпохи, отрицательно относившиеся к бытовой сфере. Это объединяло романтиков, декадентов, социалистов. Так, З. Гиппиус писала о несовместимости быта и жизни: «Быт начинается с точки, на которой прерывается жизнь, и, в свою очередь, только что вновь начинается жизнь — исчезает быт...»

[2, с. 559]. В рамках социалистических воззрений на организацию жизни повседневность оценивалась негативно, как пространство, предназначенное для «ускользания» от общества [4, с. 68]. А между тем иллюзии, основанные на вере в отказ от бытовой стороны жизни, обречены на неудачу. Человек — существо телесное, он не может существовать вне быта.

Для Толстой дом не может быть освобождённым от проявлений бытовой жизни и бытия вообще. Сходной позиции придерживался В. Розанов, в чьих трудах получила развитие апология повседневности. Автор отвергает «прожиточный минимализм» интерьера. Она тонко реагирует на современные процессы шаблонизации и десемантизации предметов бытовой культуры. Из «кабинета», оформленного в духе идей минимализма, «хочется сию же минуту выйти вон и завести себе *других* (курсив мой. — *T. B.*) друзей, пусть даже пьяниц и матершинников, но чтобы с душой» [5, с. 190]. Дом должен быть завален посудой, утварью, безделушками. Излишне чистое, упорядоченное — знак стерильности, отсутствия жизни.

Тема реабилитации быта продолжается и в «гастрономических» эссе автора («Неразменная убоина», «Битва креветки с рябчиком»), где отвергаются аскетические и вегетарианские идеи, в основе которых — попытка искусственно минимизировать телесное в человеке. Искажённые модели дома предлагают Другие, скрытые под маской анонимности: рекламные журналы, дизайнерские агентства.

Повседневность — это не просто совокупность вещей, призванных выполнять утилитарно-практическую функцию. Семиотическая система жилья кодирует социокультурный опыт поколений: дом фиксирует материальные достижения культуры, ценностные, эстетические параметры. Вещи — важный механизм трансляции культурного наследия, обеспечивающий связь поколений и облегчающий процессы культурной самоидентификации. В текстах Толстой поднимается тема утраты культурной памяти.

В вещи запечатлевается не только культурная традиция, но и индивидуальная и семейная жизнь. Вещи принимают на себя знаковую функцию, способствуя непрямой и неверbalной коммуникации с Другим, превращая Другого в Другого — Своего (впрочем, возможен и иной исход). Чашка чая, поданная Женечкой, — «любовная, ловко замаскированная под товарищескую» [6, с. 361]. Нарочно забытые Тамарой у Симеонова шпильки и носовые платки становятся поводом для очередного визита (в надежде сменить статус — стать Другим-Своим). Домашние тапки, фотография в портмоне и розовая лампа на подоконнике — знаки, призванные сигнализировать не только об окончательном прикреплении Владимира к очагу Зои, но и выполнять pragmatischeкую функцию, эстетически обаяв объект любовной охоты («Охота на мамонта»).

Отношение к «своему» отлично от восприятия «чужого». Новая вещь, ещё «ничья», но погружённая в обжитую атмосферу своего дома, становится «своей»: «Папа с абажуром, еще томным, молчаливым, но уже принятый в семью: теперь он наш, он свой, мы его полюбим» [6, с. 298]. Время уничтожает вещи, выхолащающая содержащееся в них прошлое. Купленный когда-то любимый абажур, «обиженный, изуродованный, преданный», будет выкинут и заменён модной пирожковой люстрой. Некогда любовно обставленная и отделанная спальня аптекаря Янсона

превращена последующими жильцами в рукомойню, подсобное помещение («Белые стены»). Слои обоев, метонимически уподобленные «слоям времени», содраны со стен, которые оклеены новыми, в деревенский цветочек. Белые обои символизируют стёртую память, уничтоженное прошлое. Такая болезненно-безжизненная чистота царит на коммунальной кухне у Александры Эрнестовны («Милая Шура»).

Бережное отношение к старой вещи продлевает жизнь, сохраняет память. В рассказе «Йорик» жестяная банка названа «братской могилой», где хранятся «трупики вещей», «черепки времени»: пуговицы, иглы и другие бытовые мелочи, которые уже не используются. Они служат знаком памяти, в том числе и об ушедших Других – Своих.

Особое место среди вещей, хранящих память об ушедших, занимает фотография — иконический знак Другого. В бархатных альбомах Александры Эрнестовны заключён целый мир, прожитая, уже отшумевшая жизнь многих поколений. Эти альбомы и письма являются, в сущности, последним следом земного существования близких рассказчице людей. После смерти хозяйки стираются не только эти следы, но и её собственные. Вещи попадают в ближайший мусорный контейнер, хранить следы её земного существования больше некому. Индивидуально значимая семантика личных вещей более недоступна Другим. Артефакты валяются в грязи, а бархатный альбом с фотографиями украден чужим человеком, который будет чистить им обувь. В рассказе «Смотри на обороте» старая глянцевая открытка, присланная когда-то отцом рассказчицы, наводит на экзистенциально окрашенные размышления о жизни и смерти значимого Другого, которые переходят в размышления о смерти как характеристике человеческого бытия.

Наиболее ярко рефлексия автора над современными (информационными) способами разрушения приватного бытия выражена в фельетонах. Жанр фельетона занимает особое место в творчестве Толстой, поскольку здесь семиотический Другой максимально сближен с образом автора. Через иронию, пародирование и иные формы деконструкции автор раскрывает фальшь и примитивизм рекламного дискурса. Семиотика рекламы имеет особенности, рекламные знаки не призваны информировать покупателя о свойствах товара, а несут скрытые значения, которые настойчиво внушаются. Изощрённую рекламную риторику можно рассматривать как вторжение Другого. Семиотический Другой здесь выступает изобличителем сюжетного Другого.

В основе рекламного дискурса лежат архетипы повседневности — «уют», «комфорт», «покой». Клиента, по словам автора, уговаривают «продуманно и виртуозно», ему предлагают кресла, «сидя в которых можно пережить наивысшую степень расслабления», торшер, который «отличает шокирующая простота...» [5, с. 186]. В фельетоне «Ложка для картоф.» дезавуирована фальшивость риторических уловок общества потребления. Дорогостоящая «ложка для картоф.», продававшаяся в магазине «Фея домашнего очага», не была куплена рассказчицей, несмотря на то что «вещь престижная». Здесь с остраняющей и травестирующей силой семиотический Другой выявляет прагматическую лживость торгового мифа. Рекламная риторика примитивна и однообразна: «Нужно тебе продать горшок?

Пиши: “терракотовый горшок для цветов — это классика”. Не нужно продавать горшок <...>. Пиши: “до чего же уныло и неинтересно выглядят покупные терракотовые цветочные горшки”» [5, с. 191]. Деконструирующая ирония Толстой — способ защиты от враждебного Другого, присваивающего не только право выбора, но и привилегию мыслить самостоятельно.

Таким образом, приватная повседневность относится к миру земному, обыденному и вместе с тем противостоит ему, благодаря прочным границам «своего», «близкого», «безопасного». Образ Другого появляется у Толстой в нескольких ипостасях:

I. Сюжетный другой:

1) свой, значимый Другой. Это могут быть умершие родственники, реже — близкие люди, с которыми прервана связь. Именно артефакты повседневного мира выполняют функцию связи с ними, выступают аккумуляторами памяти;

2) чужой Другой, враждебный, от которого героям приходится защищать границы приватного, часто враждебного Другого ошибочно принимают за своего, что служит причиной разочарования и внутреннего кризиса;

3) обезличенный Другой, которому отводится незначительное место в повествовании, но необходимость его присутствия определяется сюжетной функцией.

II. Семиотический Другой, взгляд которого используется как особый смыслобразующий механизм.

Характерная черта многих произведений Толстой — невозможность героев найти контакт с Другими, выстроить с ними ценностные отношения и общее социальное пространство. Даже объединяясь под одной крышей, они остаются чужими, что приводит к новому проведению границ. Позиция социальной отгороженности не отвергается автором. Приватная повседневность воспринимается как единственное убежище в деформированном мире, состоящем из смешения чужеродных элементов семантических оппозиций «своего» и «чужого», «внешнего» и «внутреннего». Своим творчеством Т. Толстая подводит итог истории приватного пространства XX в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Булгаков М. А. Трактат о жилище // Булгаков М. А. Чаша жизни: Повести, рассказы, очерки, фельетоны, пьеса, письма. М.: Сов. Россия, 1989. С. 159–165.
- 2 Гиппиус З. Н. Быт и события // Гиппиус З. Н. Чертова кукла: Проза. Стихотворения. Статьи / сост. В. В. Учёнова. М.: Современник, 1991. С. 558–568.
- 3 Лебедев В. Ю. Инверсии и вариации романтических конструктов в рассказах Т. Н. Толстой // Мир романтизма: сб. науч. тр. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2009. Т. 14 (38). С. 284–292.
- 4 Российская повседневность: вторая половина XIX – начало XXI века / под ред. Л. И. Семенниковой. М.: КДУ, 2009. 244 с.
- 5 Толстая Т. Н. Биде черный с Вольтером // Толстая Т. Н. День: Личное. М.: Эксмо, 2003. С. 180–192.
- 6 Толстая Т. Н. Не Кысь. М.: Эксмо, 2004. 608 с.

* * *

Volkova Tatiana Vladimirovna,
graduate student of the Department of Theory and History of Culture,
FSBI HPE «State Academy of Slavic Culture»,
Khibinsky proezd 6, 129337 Moscow, Russian Federation
E-mail: 4zmb@mail.ru

THE OTHER AND THE PRIVATE DAILY LIFE IN THE WORKS OF T. TOLSTAYA

Abstract: The private space is important for an individual in vital, axiological and semiotic terms as it is crucial for his/ her security, stability, personal freedom and autonomy. In contemporary Russian culture the semiotic boundaries of private space are increasingly coming under jeopardy which is caused by fundamental shifts in many areas of life including the everyday routine with its inherent privacy. Creative works by T. Tolstaya demonstrate an attempt to grasp the traditional and new mechanisms of violating and destroying the boundaries of privacy. Private routine in the world of fiction by Tolstaya may be embedded in explicit spatial boundaries (corporal space, home) or in various forms of intellectual and creative life. This level of life is by far the most sustainable and semantically defined as «intimate», «safe» and «regimented». The «private area» is a part of everyday life being at the same time opposed to it. Strict delineation of the private micro-world separates this world from various forms of public space as it draws the line between Self and the Other — the Alien. The prose by T. Tolstaya is often focused on rehabilitation of routine and on cultural memory. The crucial destruction of boundaries between private and public loci of existence calls for action which is seen by the author in fortifying the boundary of the private just short of social isolation.

Keywords: private space, daily life, the Other, boundary.

REFERENCES

- 1 Bulgakov M. A. Traktat o zhishche [A Treatise on Housing]. Bulgakov M. A. *Chasha zhizni: Povesti, rasskazy, ocherki, fel'etony, p'esa, pis'ma* [The Cup of Life: Novels, Short Stories, Essays, Satires, Plays, Letters]. Moscow, Sovetskaja Rossija Publ., 1989, pp. 159–165.
- 2 Gippius Z. N. Byt i sobytiiia [Everyday Life and Events]. Gippius Z. N. *Chertova kukla: Proza. Stikhotvoreniia. Stat'i* [Devil Doll: Prose, Poems, Papers], compiler V. V. Uchenova. Moscow, Sovremennik Publ., 1991, pp. 558–568.
- 3 Lebedev V. Iu. Inversii i variatsii romanticheskikh konstruktov v rasskazakh T. N. Tolstoi [Inversions and Variations of Romantic Constructs in the Stories by T. N. Tolstaya]. *Mir romantizma: sb. nauch. tr.* [World of romanticism: Collected Research Papers]. Tver, Tverskoj gosudarstvennyj universitet Publ., 2009, vol. 14 (38), pp. 284–292.
- 4 Rossiiskaia povsednevnost': vtoraiia polovina XIX – nachalo XXI veka [Russian Daily Life: second half of XIX – early XXI century], ed. L. I. Semennikovo. Moscow, KDU Publ., 2009. 244 p.
- 5 Tolstaia T. N. Bide chernyi s Vol'terom [Black Bidet with Voltaire]. Tolstaia T. N. *Den': Lichnoe* [The Afternoon: personal]. Moscow, Eksmo Publ., 2003, pp. 180–192.
- 6 Tolstaia T. N. *Ne Kys'* [Not Slynx]. Moscow, Eksmo Publ., 2004. 608 p.